

Владимир Куприенко

Владимир Алексеевич Куприенко родился в 1952 году в поселке Октябрьский Зейского района Амурской области, окончил истфил Благовещенского пединститута и отделение журналистики Хабаровской высшей партийной школы. Работал на золотых приисках, в мостостроительной бригаде, журналистом в ряде газет, в пресс-службе областной администрации. Член Союза писателей России. Автор пяти книг прозы.



Рассказ

День Совка

Для непосвященных: Совок — это некий мир, это философия, это большой пласт культуры, это... Но прежде всего — это государственное образование. Правда, уже почившее, или канувшее (как будет удобно), но некогда очень мощное, даже державное. Кто не верит, пусть проверит — не возбраняется, пусть покопается в нужной литературе.

Государственное образование Совок есть не что иное, как СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Кто знает, тот знает, комментировать не будем. Не станем рассказывать, как осенью одна тысяча девятьсот семнадцатого года ребята по прозвищу большевики устроили большую бучу (названную в дальнейшем Великой Октябрьской социалистической революцией) и подгрести под себя офигенную, но изначально несчастную страну.

Это ж надо ж! Такую страну махом поимели, запудрив простолюдинам мозги лозунгами типа «Фабрики — рабочим! Земля — крестьянам!» А оно им надо?

Впрочем, не наше это дело — все эти перевороты-фабрики-земля. Просто мы родом оттуда — вот какая незадача. Мы оттуда, и нам неуютно сегодня. Не всем, конечно. Не всем. Но многим. Генке Глыбе, к примеру.

Вот он сидит на веранде, в деревне Ольховка, у тещи, попивает домашнюю наливку и скорбит.

Геннадий Петрович Глыба нынче очень самодостаточный человек. Очень. Почти что баксовый миллионер. Рублевый — точно. У него большое полиграфическое производство, три издательства с типографиями. У него лично. И коллективы — высокомуштрованные профессионалы. Плюс к тому — сеть магазинов для простого люда под общим названием «Скидочка». Плюс спорткомплекс для «белых» со всякими там супертренажерами, плавательным бассейном, теннисным кортом и прочими бильярдами-саунами. Плюс... В общем, до хрена чего. Не слабо, так ведь?

Вроде так. А на самом деле — нет. Глыба остался там, в Совке (точнее, вернулся туда), и никак не может выбраться оттуда. Казалось бы — все есть. Деньги-квартиры-машины, дом на взморье и тэ дэ. Все, словом. Все, что хочешь. Но нет ни покоя, ни кайфа. А главное — кураж пропал. Нет его, иссяк.

В Совке все было понятно. Там все отсутствовало, и приходилось копытить. Например, захотела жена кухонный гарнитур. Причем польский. Гена ей: «Остынь, Потапова». Она в девичестве Потаповой была. Катюхой Потаповой — душой курса. А потом вышла за Глыбу и стала Глыбой. Представляете, каково маленькой хрупкой женщине с такой фамилией? Ужас! Просто тихий советский ужас.

Так вот, значит, Катюха захотела, а Гена ей отворот: мол, остынь, Потапова. Она обиженно надувает губы, но при этом глаз у Катерины — хитрющий. Знает Потапова-Глыба, что эта программа (про гарнитур) в Генкиной башке осела прочно и, пока он ее не выполнит, не будет ему ни сна, ни покоя.

А как выполнить, если гарнитуров этих и в помине в магазинах нет. Только по великому благу или через ветеранов войны. А откуда у простого полиграфиста благу? И ветеранов знакомых нет. Отец был, но умер уже. Умер гвардии сержант, выдающийся сапер, орденосец Петр Глыба. Что поделаешь...

Поразмыслив-покумекав, строит Глыба комбинацию в три хода. Что нужно, рассуждает Гена, чтобы урвать эту Катюшину забаву — польский кухонный гарнитур? Нужно найти ход. Какой? К примеру, просочиться к завмагу мебельного магазина Розе Васильевне Игумновой. Как? Да кверху каком! Игоря Вахрушева, журналюгу-прохиндея, надо подтянуть. Обсказать ему ситуацию и попросить помощи: мол, черкани, друг любезный Игореха, какой-никакой очеркишко о великой Розе — и она тебе гарнитурчик от щедрот своих отсыплет. Ты его купишь на мои деньги, а я тебе за это японский спиннинг подарю.

Заядлый (ну совершенно конченный!) рыбак Вахрушев соблазна не выдержит и напишет, но перед тем спросит: «А шефу че?» Редактору то есть. Он ведь сразу поймет, что материал про Розу — чистейшая заказуха. Но поскольку с мебелью у редактора газеты товарища Мерзлякова И. М. давно все решено, то он прямо скажет корреспонденту отдела писем товарищу Вахрушеву: «Передай своему клиенту, что за очерк я хочу трехтомник фантаста Беляева».

И все, проблема решена. Потому что японский спиннинг — новье — лежит у Гены в запасе, а трехтомник Беляева непременно найдется у завсекцией художественной литературы книжного магазина Оленьки Глыбы — младшей сестры Гены. Все. Не вопрос. И уже на следующей неделе счастливая Катюха расставляет гарнитур, а Генка кайфует...

А вот ежели цветной телевизор «Рубин», то тут потяжелее будет. Тут настоящая многоходовка получается. На цветных телеках «сидит» лично директор горторга Егор Иванович Першин. А к нему ни на какой кобыле не

подъедешь. Ему все побоку (правда, сам он выражается иначе, вот так: «А идете вы все... Мне все похеру»), Першин даже первого секретаря может послать. Ну, конечно, не послать, но отказать сумеет. Это первому-то секретарю горкома КПСС! Волосы дыбом.

Но Гена любые задачи разруливает, в том числе и эту — телевизионно-цветную. Он ведь Глыба. Для того чтобы подобраться к великому Першину, он для начала подарил секретарю горкома партии по идеологии товарищу Мазур Ксении Андреевне (любовнице директора горторга, это всему городу известно) распрекрасный, великолепно оформленный сборник сказок для ее внучки. И ничего при этом не попросил. Ничегошеньки! Она заахала, заахала, чуть ли не завизжала от удовольствия и сказала притом: «Ну, Генка!!! Угодил! Ох, угодил, паршивец...»

Ксения Андреевна когда-то учила мальчика-хулигана Генку Глыбу географии. На ее уроках он вел себя достойно. По двум причинам. Во-первых, потому, что ему очень нравился этот предмет. А во-вторых, потому, что был давно и безнадежно влюблен в учительницу. В двенадцать, нет, в тринадцать лет он так захотел, да что там захотел — возжелал эту женщину, что дважды падал в обморок прямо в классе при виде того, как плавно колышутся упругие ягодицы Ксении Андреевны, когда она пишет на доске тему урока...

Следующим шагом был подход-подлаз к сыну Мазур — тезке. Глыба пришел в поликлинику, которой заведовал Геннадий Юрьевич Мазур, и, одарив его модной авторучкой, попросил без обиняков: «Геныч, нужен «Рубин». Посодействуй через мать, а?» Тот хмыкнул (наверное, вспомнил, как Глыба неоднократно нарезывал ему пенделя в детстве за просто так, по настроению) и сказал: «Не, тезка, я в эти игры не играю, сам без «цветника». Я мамашу с ейным хахалем тихо ненавижу. Чего и вам желаю. Так что извини, большой человек Глыба...»

Этот вариант не состоялся. Но Гена не схлюздил. Он вообще никогда не писал в нижнее белье от страха и трудностей. Гена пошел к Артемычу — местному мафиозо-самоучке — и изложил свою кручину, зная наверняка, что Артемыч тесно общается с Першиным. Но и здесь случился прокол. Мафиозо тяжело вздохнул и грустно молвил: «Генок, «Рубинов» поступило всего пять, а нас, белых людей, в городе двенадцать. Ты в это число — никаким боком. Понятно говорю?»

Тогда Гена вышел через прапора Васю Осадчего на водилу директора торга. Одарил алкаша Осадчего литрухой спирта с красивым названием «Роял» и поведал свою проблему. Вася поморщился, но бутылку взял. А поморщился он оттого, что корефан его — тот самый водила — та еще гнида: жадный до жути и хитрожопый. Спал Вася с лица и говорит: «Чтобы этот хрен моржовый у шефа «Рубин» попросил, я не знаю, че нужно сделать... Может, того... на заимку его свозить, к Сене? Водяры набрать, кабана пристрелить... И девок пару-тройку с кулька прихватить. А?»

Так и сделали. Но для начала Глыба охотоведу Сене Барчуку полсотни литров соляры подкатил. Чтоб, значит, всем хорошо было. А потом все по плану: заимка, водяра, кабан, девчонки из училища культуры (те еще прошман-

довки, прости, Господи, за слова такие) и большой дерибас. И в процессе бурного застолья водила про «цветник» сказал походя: «Говно вопрос».

Но через пару дней этот чудак на букву «м» ушел в глухой отказ: не помню, не знаю, не могу. И тогда Глыба использовал неджентльменский прием. Он выждал неделю, а потом ударил из тяжелого орудия. К водиле пришла одна из тех «кульковых» девиц, что куролесила на заимке, и сообщила пренеприятнейшее известие: «Дяденька, а я беременная. От тебя, кстати. Че будем делать? Ты, если боишься, к Глыбе обратись, он поможет. Я два дня подожду...»

Девушка все сказала, как научил великий Глыба. Она за это хорошие джинсы получила, так чего ж не подсуетиться и не трепануть про беременность...

Водила пришел (прибежал, прилетел со скоростью звука) и покаялся. Сильно он напугался и готов был не то что «Рубин» на собственном горбу притащить — фундамент под пятиэтажку лопатой вырыть. И ведь притащил...

Эх, да что там гарнитуры-телеки, вы вспомните ночные очереди за хлебом. Вроде дохлая ситуация, а как это сблизало людей... Генка менял мать раненько утром, часов в пять — в половине шестого, когда ей нужно было корову Майку доить. Приходил заспанный, но вполне довольный, потому что любил эти стояния-сидения на высоком крыльце магазина, среди народа.

Нравилось ему это дело: что-нибудь новое услышишь, сам чего-нибудь глубокомысленное скажешь: мол, по слухам, урожай нынче добрый будет. Очень это взрослым интересно и уморительно в то же время — из уст пятилетнего, не по возрасту серьезного пацана. Девчонок за косы подергаешь, между делом всенародному любимцу — козлу Кузе — банку консервную к хвосту привяжешь или еще чего интересного сотворишь. Жизнь!

Когда председатель поселкового Совета Валентина Георгиевна Ткачева пыталась народ образумить и отправить домой («Ну что дурью-то маяться, а? Что ночами толкаться! Утром придете как цивилизованные люди и купите свой хлеб. Никто его не утащит, не война, поди...»), то люди на нее руками махали, мол, чего ты, Георгиевна, праздник ломаешь.

И оставались, никто домой не шел, разводили в кювете костерок, ставили чей-нибудь чайник и с большим удовольствием, с упоением даже, пили густой чай с рафинадом (каждый с собой обязательно кусочек приносил) или с вареньем каким. Не в хлебе дело было вовсе! Никуда бы он и впрямь не делся (две булки черного, одна — полубелого на семью). Дело было в процессе, в общении, в единении, наконец. Неурожай, перебои с хлебом, худо родному Отечеству? Значит, сам Бог велел собраться (как бы сплотиться), обсудить ситуацию, поддержать друг друга. К примеру, сброситься по кусочку-корочке для многодетной семьи Литвиновых, им трех булок никак не хватает. Или всем миром осудить (да не за глаза, в глаза глядя) алкашку Надьку Шаронову, которая своих детей совсем забросила. Осудить, но и помочь. Вот в чем дело — понимаете?!

Вот в чем дело, вздыхает Гена. Дружно жили. Со вниманием, соучастием и состраданием. Плохо жили, кое-как, но хорошо было. Вместе всегда

хорошо. Вместе любую безнадегу переборешь — это факт проверенный. Вон какая война была (Генка, правда, в ту пору даже в мыслях родительских не существовал, они тогда и женаты еще не были), уж совсем безнадега, но пережили же. А первые годы после войны? А пятидесятые... Нет, тогда уже полегче было. Сложно еще, но уже полегче. Глыба это время помнит.

А как на выборы ходили? Это ж всенародный праздник был. На самом деле — фикция (какие выборы, когда за одного кандидата голосовали!), а все одно — праздник. Мать будила рано, намывала, одевала во все лучшее, и шли всей семьей. Нарядные, уверенные, гордые.

А на участке буфет и торговля выездная со всякими вкусностями. У буфетчицы Ани Харитоновой выпечка, и бутерброды, и водочка на разлив для мужчин, а для женщин — вино сладенькое. Выпивали, радовались, песни пели под гармошку безногого фронтовика Вани Усатова. И никогда не напились до бузы. Невозможно это было в такой торжественный день. Концерт смотрели, отоваривались и шли домой с душевным равновесием на праздничный обед. Вот как было в Совке.

А демонстрации (!) вспоминает Глыба. Это вообще торжество из торжеств, праздник из праздников. Вся страна — одной громадной колонной. Первомай или Седьмое ноября. Громкоговорители, приветствия. Народ и партия едины. Что, не факт? Факт, факт. И в самом деле — едины. Это даже не обсуждается. Несмотря на то, что вождя всех народов товарища Сталина суду публичному предали и из Кремля выдворили.

Споры, конечно, бывали, Генка помнит. Кто-то по Вождю в грязных кирзачах топтался (а попробовал бы раньше...) и верещал (когда обгадили, что ж не поверещать...), а вот отец Генкин — человек твердых принципов — всегда одно говорил: «Без Сталина войну б не потянули и страну б так быстро не подняли».

Сидят родители с друзьями за столом, шесть пар, двенадцать человек. Одиннадцать коммунистов, а один беспартийный. На него смотрят с сожалением и успокаивают: «Потерпи, Сема, скоро евреев из изгоев выведут, и будешь ты человеком — как все».

Вроде наивняк зеленый все это, глядя с сегодняшней колокольни, ан нет — жизнь, да еще какая. «Как хорошо в стране Советской жить». Пели? Пели. Так что ж теперь в говно все зарыли? Так Гена говорит своим друзьям-приятелям, изрядно выпив дорогушей водки «Белуга голд». Говорит и плачет. Они его успокаивают: «Совок ты наш ненаглядный, не плачь, купим мы тебе калач, и красный флаг, и бюст Сталина, и собрание сочинений Ленина, и Аньку-пулеметчицу — на ночь. Не ссы, Генок, пробьемся».

А куда пробиваться, уже пробились и хапнули все, что можно было. Хапнули, а радости нет. А как, помнится, радовался, когда приобрел первые джинсы «Левис». Кричал от восторга: «Посмотрите на мою задницу — это чистая фирма!» А когда первую машину, любименькую «Победу», с рук взял! Калымил в трех местах, сэкономили с женой как могли, на всем. Сейчас и «Мерс» стоит, и джипяра «Хаммер», а радости — шиш.

А когда их с Катюхой семейной путевкой в Болгарию наградили! Чуть башка не оторвалась от радости. В загранку! В загранку, япона мама! А теперь — Париж не Париж, Мальта не Мальта, Бол не Бол. По барабану. Везде были, больше не цепляет. Жена вообще забастовку объявила, никуда не ездит, только к матери в Ольховку. Совсем что-то захирела Потапова-Глыба, не цепляет, говорит, меня, Генка, вся эта лабуда, не мое это и не твое, я вижу.

В поселок бы свой махнуть, так хренушки, нет больше родного поселка, нет Вершинного. Катюха язвит: «Ты, Глыба, парнишка богатый, отстрой поселок заново. Сделай все как было и сиди там, кури бамбук и ностальгируй». А как его отстроишь, если б даже захотел, — на дне водохранилища Вершинный.

Глыба помнит его в деталях. Каждую улочку, каждый закоулок, каждую сопку окрест. И каждого человека, наверное. По крайней мере, так кажется. Вот спроси его сейчас, кто за какой партией и с кем сидел в классе — на раз скажет. Вот просто махом, не задумываясь. А кто на какой улице и в каком доме жил... Ну, может, не всех, конечно, назовет, но многих — пофамильно, поименно. А ведь тридцать лет с гаком прошло...

Тридцать лет. Сразу из глубин лет и лексического многообразия выцарапывается банальнейшая мысль-фраза: а кажется — только вчера. Даже то, как пятилетними сопляками сидели с Борькой Нагаевым в умывальне инфекционного отделения на горшках и укоряли друг друга собственными запахами («Ну ты и развонялся, Генка, вонючка». «Сам вонючка, мухи дохнут на лету»), — кажется, было вчера. По силе памяти ощущений и запахов. Ей-богу.

Тогда они с Борькой наелись от пуза прокисшего грибного супа у Юрика Демидова и дружно обкакались, и так же дружно заболели дизентерией. А Юрик хоть бы что. У Демидовых тогда еще не было холодильника, и их организмы плевать хотели на всякие там прокислости.

Как будто вчера тащились они вчетвером пешкодралом за сорок километров к ближайшей речке на рыбалку за сомами. Дошли и первым делом наткнулись там, на песчаной косе, на дядю Костю Аверкина и тетю Люду Федорчук, успешно трахающихся.

Петик Вавилов тогда на ветку наступил (они только-только из тальника выбрались), она хрустнула, дядя Костя обернулся, показал кулак, а потом совершенно спокойно сказал: «Вон там, в ручье холодном, рыба в мешке, забирайте и мигом уматывайте». Что они и сделали. И рыбу не забыли. И никогда никому про то не рассказывали.

А как на первую зорьку с первым ружьем ходил... Только вчера — в ощущениях. Притаился на берегу озера под кустиком, ждал-ждал уток и таки дождался. Минут через двадцать услышал характерное кряканье и с радости и от великого возбуждения пальнул дуплетом на звук. И тут же очень отчетливо услышал с того места такой отборный мат, что мигом сдуло, очнулся только возле поселка. Слава Богу, никого не убил и даже не ранил.

А первый медведь (якорь ему в задницу!) — вчера да и только. За моховой пошли с Борькой Нагаевым на ключ. Километров за пятнадцать в тайгу. С ведрами в рюкзаках, с ружьями. Мало ли что.

Моховка в тот год была отменная. Уж на что Генка не любил ягоду собирать, а тут даже с удовольствием: ягода крупная, грозди рясные, как виноград — бери да радуйся. И брали. Разбрелись с Борькой в разные стороны и погнались, как стахановцы, без перекуров. Но потом спина у Генки занемела, и решил он передохнуть, распрямиться.

Распрямился, позвал Борьку — глухо. Значит, косит друган моховку со страшной силой и помалкивает, потому что на ягоду хорошую напал. Позвал еще, опять молчок. Потом возню неподалеку услышал, пару шагов сделал в ту сторону и увидел... большую шерстяную задницу. Мишка ягодой кормился. Так увлеченно, что бдительность потерял (а скорее, ветер был от него и ничего медведь не чуял) и забил на все вокруг, обжираясь вкуснейшей моховкой.

Генка долго раздумывать не стал (да о чем он вообще думать мог?!), с индейским воплем: «Нагай, рви ноги!» — бросился в противоположную от медведя сторону, бросив ведро и забыв напрочь о ружье. Затормозил только метров через двести, да и потому лишь, что зацепился за корягу и рухнул наземь. А через десять секунд рядом рухнул Борька. От него дурно пахло...

Ружья и ведра забрали на следующий день. Под руководством штатного охотника — деда Залесского.

А через год Борьки Нагаева не стало. Катались с Михой Юсуповым на коньках по тонкому еще льду и провалились. Миха как-то выбрался (сам не помнит), а Нагай утонул. По двенадцать лет им тогда было. А как вчера. Стояли в карауле перед гробом Борьки в его доме. Без слез, как взрослые мужики. Менялись, но домой не уходили. Сидели на кухне у печки рядом с Борькиным отцом. Он водку пил, напивался медленно и верно, но не напился, не брала его «Московская». Пацанам предлагал: «Выпейте, мужики. Надо выпить, легче будет». Как взрослым предлагал. Но они не пили, не время еще было со взрослыми на равных пить.

Пить стали чуть позже. Совсем чуть — через год. Да и не пить вовсе, а пробовать. Причем на свои кровные — заработанные. Подряжались в продснаб грузчиками. Продснаб, кому непонятно, — отдел продовольственного снабжения. Когда летом в поселок везли фрукты и дешевое вино, штатных грузчиков не хватало. И тогда брали пацанву. Однажды главбухша этого всеми уважаемого предприятия, соседка тетя Альбина, предложила Генке подработать и с собой человек пять привести, вот тогда и началась самостоятельная жизнь — с вином «Осенний сад» и закуской из подгнивших фруктов. Сегодня кажется благополучному бюргеру Геннадию Петровичу Глыбе, что ничего вкуснее этого «сада» он не пил...

Эту бормотуху им давали штатные грузчики. Можно было брать смело, потому что полагался конкретный бой. Скажем, одна бутылка из десяти. Такого «боя» набиралось изрядно. И его нужно было пить. Мужики предпочитали водку, а пацанам отдавали «червивку». И они пили, не ведая, что дела-

ют, не зная границ. Лидерствовал, как всегда, Глыба. Сначала он научился выпивать из пол-литровой бутылки воду. Одним махом выливал все содержимое в горло и сглатывал. Всего один раз. Осилев эту, в общем-то, примитивную технологию, Генка в одночасье выпил (залил в себя без перерыва) подряд три пол-литры обезжиренной «Яблочной» и через пятнадцать минут рухнул в лопухи. Как он еще не сдох, прости господи...

Пацаны его подвиг повторять не стали, но выпивать дружно начали. И как-то разом повзрослели. И уже никто не указ. Мать просила отца: «Петя, будь человеком, всыпь ему, а? Дай ему ремня, чтоб почувствовал, засранец». Но отец никогда никого не бил, а детей тем более. Он подбирал пьяного Генку за калиткой (друзья заботливо укладывали своего «бугра» у прохода во двор, даже куртку под голову подстлали, и, отойдя на пару-тройку метров за угол, начинали орать и свистеть, чтобы привлечь внимание дяди Пети), затаскивал домой, раздевал, укладывал в кровать и вздыхал озабоченно: «Дурак ты, Геннадий Петрович. Совсем дурак...» Мать смотрела на них, тихо плакала и вертела у виска пальцем: «Оба — конченые идиоты...»

Но никто из пацанов не спился. Покуражились, поболели взрослостью и утихомирились. Нормально окончили школу, поступили в институты и благополучно получили дипломы. Из их пятерки Серега Гальцев уже доктор наук, профессор, Петик Вавилов — кандидат, Юрка Демидов — солидный бизнесмен, а Викун Усольцев — вице-консул в Корее. И он, Генка (господи, даже в мыслях — Петик, Юрка, Генка... а лет-то уже — под сраку), при серьезных делах.

После окончания «вышки» они потянулись в ряды доблестной КПСС. Иначе было нельзя, иначе — не пробиться. Если ты не член этого супервлиятельного собрания, то цена тебе практически нулевая. Даже если ты классный специалист.

Таковой (классный) спец от Бога Гена Глыба пять лет маялся в подмастерьях. Пока не сдался. Признаться честно, не цепляла его эта партия (и никакая другая). Небольшая горстка лидеров и миллионы заднепроходцев. Такова схема. Кстати, очень результативная схема. Все и всё — управляемо. И быть там, в членах, — за счастье. Основной массе — за счастье. А он отнекивался. Самохин (тогда еще мастер цеха и парторг) даже за грудки хватал: «Ты че, малец! Ты охренел? Тебе карьеру предлагают! Это перспектива! Это жизнь, идиот! Ты че?!» А «ниче», просто возраст такой, на грани юношеского максимализма — а пошли все туда-то! Все в дерьме, а я в белом. Честный и принципиальный.

Два года кочевряжился. А потом как прозрел. Вчера — дурак, сегодня — пробило, очухался. И с повинной головой — к Самохину. А тот — фигос под нос. Теперь, говорит, жди, дурко. Теперь пора иных, сопливых, но сразу умных, с первых дней. И ждал. Полтора года. К тому времени профессионально совсем заматерел. Так что после вступления в ряды КПСС сразу в гору попер. Мастер, начальник цеха, зам главного инженера, главный, секретарь парткома. А талоны на водку прут со страшной скоростью. И проблемы на раз решаются. Любые. В первую очередь — социально-

политические. Финансовые — само собой, как бы «промежду прочим» (выражаясь языком люмпенпролетариев), легким движением руки...

Так что — все в полном порядке. Иначе быть не могло. Потому что есть крепкий генный код, потому что с такими родителями иначе и нельзя было. Так что — все-в-полном-порядке. Только маетно как-то...

«Почему так тошно, Юрка?» — спрашивал у своего корешка — доктора Демидова. «А хрен его знает, Глыба, — вздыхал Юрка. — Хрен его знает, дорогой мой дружок. Время поганое, что ли. Стержня нет. Или постарели раньше времени, или устали на полдороге. Не спрашивай меня, Гена, нечего мне ответить. Сам такой...»

Уходил Юрка от вопроса. Гальцев из Канады по телефону советовал: «Напейся, Глыба. Нажрись до посинения и выблюй из себя всю эту хандру». Борька злился: «От жира бесишься, суконец!» А он не бесился, он просто не умещался здесь, не укладывался, ему обратно хотелось — в родной Совок. Не то чтоб все с начала, нет. В те устои, в тот свет душевный, в ту доброжелательность. Когда тебе руку протянет незнакомый и на спине потащит, если ситуация припрет.

Было так в Генкиной жизни, когда валялся он на обочине дороги зимой, вдрызг пьяный, и замерзал. Но какой-то совершенно чужой мужик подобрал, и руки-ноги растер, и до дома дотащил на своих двоих. А теперь все — мимо. Лежит человек на стылом зимнем асфальте, и никому нет до него дела. А ведь он, может, и не пьяный вовсе, может, у него мотор забарахлил, отказало сердце и помощь ой как нужна. Ведь может так случиться? Может-может. Но мы топаем мимо, только брезгливо морщимся...

В прошлом году, помнится, возвращались они вдвоем с водителем из командировки, Глыба задремал, и почудилось ему сквозь сон, что лежит кто-то на дороге, а они мимо промчались. Спросил у водилы: показалось, что ли? Да нет, говорит, валяется какой-то бухарь. И хрен, мол, с ним, быстрее сдохнет. Вот так. Водила у Глыбы — парень молодой, цепкий в жизни, но, получается, с мертвой душой.

Велел Глыба машину развернуть. Менторским тоном приказал, кое-как от мата удержался. Подъехали к человеку (а на дворе ночь уже была), осветили, и сразу понятно стало — мертвый. Не убитый, а просто мертвый, сам по себе. Распрямился Глыба, посмотрел на водилу и сказал тихо: «Вот так и тебя когда-нибудь...» Труп в морг отвезли, а с этим парнем — водителем своим — Геннадий Петрович там же простился. Навсегда. Только повторил: «Вот так и тебя когда-нибудь объедут, сынок...»

Объедут или пройдут мимо, или не откроют дверь, или хрен знает что еще. Недавно было — не открыли дверь тренеру Гаеву, и все, конец. Поднимался человек на свой этаж, и вдруг стало худо (с Глыбой такое было — вдруг, но рядом была охрана). Дотянулся, позвонил в ближайшую дверь, но ее не открыли. А ведь видели, что это Гаев, в глазок видели. Лицо перекошенное? Так от боли же, суки! Не открыли...

В родном поселке в совковые времена двери вообще не закрывал никто. Разве что на щеколду, чтобы обозначить отсутствие хозяев дома. Но, еже-

ли какая нужда, или беда тем паче, — заходи. Но мало кто заходил. Может быть, цыгане иногда. Они забирались порой в поселок и просто сатанели от незапертых дверей. Кодекс их коллектива, а скорее стада, не позволял воровать в открытом доме при отсутствии хозяев. Даже шустрые вездесущие цыганята соблюдали это табу. Что-то в этих людях еще оставалось от гордых пилигримов.

А дома были, как правило, с достатком. Не богатые, но крепкие в своем внутреннем содержимом. Потому что в них жили работающие люди. Они много работали и совсем не заботились достатком, он приходил вроде сам собой, как некая данность, как результат труда.

В этих домах, разумеется, было чем поживиться, поэтому можно понять состояние цыган. Как говорится, видит око, да зуб неймет. Тот самый случай. А усугублялось все тем, что здесь никто не соглашался на гадание. То ли не хотели поселковые судьбу пытаться, то ли еще что, но на привязки цыган отвечали ироничными улыбками и проходили мимо. В общем, не удавалось бродячим людям ни украсть, ни обмануть. Убирались они из поселка потерянные и очень грустные.

Но однажды воровство таки случилось. Маленький Гоша Устинов зашел к своему другу Коле Митину и стибрил с трюмо карманные часы хозяина дома. Коли как раз не было, он понес пирожки соседям и что-то задерживался.

Ох уж эти пирожки, вздыхает Глыба над щемящими воспоминаниями. Удивительная традиция жила в поселке — одаривать ближних соседей пирожками и прочими печеностями. Говорили, что основоположником этой традиции был сосланный немец Рудольф Краузе. До войны он держал в своем немецком городке маленькую пекарню и булочную. Но черт занес его в национал-социалисты и оторвал ему здоровую башку. На войне Рудольф попал в плен. Под Сталинградом. А потом его освободили, но домой, в Германию, непустили, сослали в сибирскую глубинку.

В поселке Краузе появился в сорок девятом. Сначала работал у дорожников, а потом прибился к хлебопекарне. Там пекли скверный хлеб, просто хреновый — кислый и липкий. Когда его привозили в магазин, хлеб превращался в камень. Рудольф не выдержал этого свинства, пришел в пекарню и сказал директору — Ашоту Миротяну — все, что думал по этому поводу. На ломаном русском это выглядело примерно так: «Если это хлеб, то ты — Наполеон армянский и рыбий потрох». На что Ашот ответил на таком же русском следующее: «Если я Наполеон, то ты...» — ну и далее про любовь с пожилым ослом. На том и договорились. На следующий день герр Краузе уже был рабочим хлебопекарни, через неделю — тестомесом, а через две — основным пекарем.

Вот тогда-то и родилась эта традиция — пирожки соседям. Воскресным утром Рудольф Краузе и его жена Лидия выходили за калитку с корзиной и шли к соседям. Сначала к Петрухиным, затем к Звонаревым, потом к Любиным. В корзине были вкуснейшие пирожки. Их получали в дар и прохожие, если таковые попадались. После первого «пирожкового захода» к герру Краузе пришел майор Тимошенко (представитель госбезопасности в посел-

ке) и спросил: «Ты где муку берешь на эти подарки? Уж не с пекарни ли тянешь, хер гребаный?»

Так уважаемый герр Краузе в одночасье стал не менее уважаемым хером Краузе. В тот день он угостил гэбэшника своими пирожками, и майор (сраженный наповал этой вкуснотищей) сразу отлип. Без вопросов. Сказал только: «Такие пирожки должна есть вся страна». Государственный человек, ничего не скажешь.

Так вот, когда Гоша Устинов пришел к Коле Митину и не застал его дома, Колина мама — Ларина Александровна — пригласила мальчика и попросила подождать. Откушав любезно предложенных пирожков (штук пять, не меньше) и затяжелев животом, Гоша подошел к трюмо и увидел часы. Золотая луковица сразила его напрочь. Он не украл часы, а просто взял. взял понравившуюся вещь. Как игрушку. взял и поспешил на улицу, чтобы похвастать перед пацанами.

И похвастал, конечно, и поймал кайф (ни у кого из мальцов таких часов, естественно, не было), но пролетел в одном месте. Когда Женька Грязнов (ябеда из ябед) спросил, где Гоша взял такие классные часы, мальчик честно ответил: «Так у Митиных же ж, на зеркале лежали.....» Через пять минут, разумеется, Митины всё узнали. А через десять об этом знала выдающаяся сплетница современности — старуха Посеваева. На следующий день об этом знал весь поселок.

Но Гошу не осудили. Часы он, конечно же, вернул. Пришел к Митиным, молча протянул Ларине Александровне злополучную золотую луковицу и судорожно всхлипнул. Он был хороший, совершенно положительный мальчик, и все поняли, что сделал это Гоша без всякого умысла. Просто взял интересную вещичку. Но Гошина мама — директор начальной школы Анна Владимировна Устинова — с принципиальной прямоотой педагога времен великого Макаренко сказала ему: «Мне стыдно, Георгий. Мой сын — воришка».

Гоша тут же осознал весь ужас содеянного и взвыл от стыда и горя. Весь поселок слышал эту долгую печальную песнь. С тех пор, вытаскивая из собственного кармана собственный носовой платок, преподаватель педагогического университета Георгий Андреевич Устинов первые пять секунд тревожно осмысливает: а не чужой ли это карман...

Глыба улыбается, вспоминая эту историю-легенду. Вот какие жили люди в Совке. А потом всё сломалось. И все. В частности он — Геннадий Петрович Глыба. Когда это случилось? Так с появлением талонов и случилось. Такая шара прикатилась — деньги лопатой за просто так. Тогда они начали печатать левые продуктовые и бытовые талоны. Директор типографии Самохин пригласил к себе начальника цеха Глыбу и сказал: «Вот что, Гена. Или ты в игре, или пиши заявление. Я такой халявы не пропущу. Один хрен все рушится, сынок». Быстро въехав в ситуацию, Генка согласился. Сказал разухабисто: «А..., где наша не пропадала...»

А ведь хреново ему тогда было. Когда дал согласие. Сильно хреново. Потому что не его это было, не глыбинское, Глыбы всегда трудом жили,

криминал и в мыслях (даже на миг) не мог появиться. Но пасанул Гена. Не то чтобы побоялся гнева начальства, нет. Просто не хотелось из типографии уходить, хорошо ему тут работалось. А потом, когда первые деньги появились от левых талонов (гора бабок!), то уже интерес возник. Или азарт. Принес домой три годовые зарплаты, высыпал купюры на голову Потаповой и задохнулся от удовольствия, увидев глаза жены. Понравилась Катюхе эта шутка.

Сначала печатали только в своем городе и окрест, потом для всей Территории, где жили. Дальше — больше. Став монополистами у себя, перебрались в соседние местности и там тоже стали единственными. Правда, пришлось нанимать бандитов, чтобы «урезонить» местных полиграфистов. И тогда поперли совершенно дурные деньги. Их привозили в мешках для картофеля. Десятками мешков за несколько дней. И никто их не тормозил. Потому что все хотели талонов. Особенно ценились «официальные» бумажки на алкоголь.

Однажды Глыба решил посмотреть воочию, что творится у винно-водочных точек. В магазинах делали специальные окошки для продажи спиртного. Люди стояли на улице, змеевидные очереди растягивались на два квартала. А у желанных окон творилось нечто страшное. Народ просто крушил друг друга. Ломали руки, ноги, сворачивали шеи. На глазах у Глыбы задавили старушку. Насмерть. Генка недоуменно оглядывался и бормотал: «Эй, народ, вы че? Вы че творите, вы же люди...» Ему стало дурно, голова закружилась, и ноги подкосились. А ведь Глыба был не из слабых, и в это время стоял в стороне от толпы.

Отечественные деньги тогда никакого веса не имели, и народ смотрел на них как на бумажки, которыми и подтираться-то стремно. А вот Самохин в ситуацию сразу въехал. Он стал скупать доллары и недвижимость. Тому же и Глыбу учил: «Подгребай все что можно, Генок. Скоро та-а-кое начнется — только успевай».

Они прикупили земли в южных районах, приобрели дома на побережье Черного моря в Крыму и на Кубани. Это были халупы, но неподалеку от моря. И когда у них начался «упаковочный бум» (открыли производство гофротары, став первыми и опять же — монополистами) и поток денег увеличился в несколько раз, на месте ветхих домишек выросли добротные трехэтажные коттеджи.

Уже тогда Генка перестал соображать, что происходит. Они ковали бабки, и этот процесс просто оторвал им головы. Уже засобирались было валить из страны, в полной уверенности, что жить в ней не просто невозможно, а очень опасно. Очень.

Первого провожали (и проводили ведь!) Леню Мстиславского, который в отличие от них ехать никуда не хотел, но его увозили. В этом был изящной извращенности парадокс: чистопородного еврея в Израиль насильно увозила столь же чистопородная хохлушка — жена. Ленчик маялся, просил с интонацией местечкового хохляры-истопника: «Бачь, Ганнусь, ну шо мы там забыли, у той паскудной израильщини?» На что суровая Ганна принципиально неуступчиво отвечала на нормальном русском: «Детей пожалей, жи-

довская морда. Собирайся и не ной, упырь хохляцкий». Леня пил водку, плакал и вытирал слезы майкой, на которой аршинными буквами было написано по-английски: «Я устал от секса».

Леню таки увезли, потом уехал Боря Штайман. Самохин смертельно запил, сорил деньгами, покупал брюлики валютным проституткам, которых доставляли самолетами из Москвы и Питера, осыпал их баксами и однажды чуть не захлебнулся в собственной блевотине, лежа на спине после общения с одной из «сладких».

Тогда бы очухаться Глыбе, оглянуться, послушать отца. Он умолял: «Сынок, что ж ты творишь. Это дурные деньги, бес тебя попутал, опомнись!» Но Генке было не до того, он подбирал все, что имело вес и цену, и беспробудно пил. Так пил, словно в последний раз. И очень по-русски — чтобы кураж, чтоб «к цыганям», чтоб девок хоровод, а наутро чтоб рассолу огуречного и в баньку. А после баньки — стограммовую граненую стопку холодной водки, крепчайший кофе и — на работу, вкалывать до посинения и параллельно — пить.

И уже слабо понимаешь что к чему, все на автопилоте, любое действие — отработанный в деталях стереотип. И совершенно не думаешь, а уж тем более не спрашиваешь себя: что происходит? А если и происходит, то с тобой ли? И когда тебе говорят, что звонит жена, ты с минуту тупо машешь головой и так же тупо соображаешь: жена?..

Трезвеешь только тогда, когда на горизонте появляются партнеры-заказчики и секретарша открывает перед твоим носом флакончик с нашатырем. А когда ударили по рукам и все довольны, то опять льется коньяк или вискарь (водку днем нельзя почему-то, дурной тон, понимаете ли), и жить становится сначала легче, потом еще легче, а через двадцать минут совсем хорошо, так хорошо, что и пообедать бы не мешало. А после обеда уже слабо соображаешь, и помнишь через раз. Или вовсе не помнишь. Но это уже не важно...

Первой опомнилась Катюха. Тогда, когда наступил перебор от шмуток, шампанского «Брют» и поездок за кордон, где с помощью великого доллара устраивались дикие оргии. Когда все это обрыдло, Потапова-Глыба словно проснулась. Оценив ситуацию своей аналитической головенкой, Катерина взвыла и стала трясти мужа. Именно трясти. За плечи, изо всех своих женских сил. Она трясла и причитала: «Глыба, твою мать, очнись!» Гена уклонялся, отрывался на минуту от документов, отхлебывал коньяк прямо из бутылки, тупо смотрел на жену и отмахивался: «Отшкрянь, Потапова. Пей свою кислую шампазею, не трогай мою мать и не е... мозги». К вечеру Гена традиционно надирался и тащился в казино, где проматывал одномоментно изрядные суммы.

Вот такого — чуть тепленького и ободранного как липка — Катюха однажды увезла Генку в Ольховку к матери. Дюжие охранники (они уже появились у Глыбы, серьезная служба безопасности, у которой хватало проблем) слегка скрутили хозяина, засунули его в джип и повезли под руководством Катерины к теще.

Теща у Гены — ангел во плоти и большой друг. Это не вранье, это факт. Глыба обожает старушку Валю. Впрочем, Валентина Степановна — не старушка, она — дама. В ней порода, стать. Глыба же любовно называет тещу «Дряхлость моя ненаглядная» и души в ней не чаёт. Вероятно, потому что в детстве ему не хватало женского тепла. Мать его уж больно была строга. Характер такой, и ничего тут не поделать. А теща по своей внутренней структуре и впрямь ангел, добрая душа. Обращаясь к нему, она всегда говорит: «Гена дорогой!» За тещу Глыба любому вставит двухведерную витаминную клизму. Именно так он и говорит: «За Дряхлость мою ненаглядную, если что — двухведерную витаминную клизму. Любому». Так что старушку лучше не обижать. Это всем известно и понятно.

Тут как-то ольховский глава рыпнулся было — хотел за Генкин счет свои личные проблемы решить, а для этого слегка его тещу припугнуть. Ты, говорит, Валентина Степановна, за колонку деньги заплати. — Какие деньги? Колонку муж покойный ставил. — Так за воду надо платить. — Наверное, надо, подумала старушка и позвонила зятю — денег перезанять. Гена спросил: «Зачем денег хочешь, Дряхлость моя ненаглядная?» Она пояснила, Гена хмыкнул и на следующий день прислал своих бойцов. Они только появились у сельсовета, только вышли небрежно из джипа цвета смерти, глава сразу все понял и чуть в штаны не наложил. Но не успел. Ему дали денег, дали именно ту самую сумму, которую он заявил Валентине Степановне, и вежливо (ну очень вежливо) попросили вернуть их с извинениями старушке. Вернул. С тех пор у него левое веко дергается без перерыва на обед и сон.

Когда Гена и Катюха «заматерели» финансово и стали забрасывать Валентину Степановну всем-превсем (одна она у них осталась, родители Глыбы умерли давно, а тесть — три года тому), она опечалилась. Опечалилась старушка и завздыхала. «Ты че, мам?» — удивленно спрашивала Катерина. «Дряхлость моя, об чем грусть?» — озабоченно интересовался Гена. Валентина Степановна вздыхала тяжело: «Ты знаешь, Гена дорогой, вот вроде надо бы радоваться, жить вон как стали, я вся в достатке купаюсь вашими заботами, а нет радости. Зато тревога большая. Как будто бес нас тешит, а совсем скоро Боженька накажет. Правду говорю, Гена дорогой. Раньше скудно жилось, а праздник был. Бывалоча, банку лосося и пару банок зеленого горошка достанешь к Седьмому ноября — аж дух захватывает. Понимаешь меня, Гена дорогой? А, помню, свинью зарезали, мясо на рынок свезли и купили Коле, царство ему небесное, хороший человек был, на вырученные деньги унты меховые. По тому времени — страшнейший дефицит! Так, веришь, Коля их каждый день расчесывал и улыбался притом блаженно, как дитя малое. И я с ним. Вот ведь как, Гена дорогой. Вроде нищета беспросветная, а радостно... Хотя — чего это я про нищету, всегда мы в достатке жили, работали, хозяйство держали. Ближе к застою, который сегодня все матерят, мы даже «Урал» купили. Ты ж понимаешь, Гена дорогой, что такое мотоцикл «Урал» в деревне? Я в люльке как барыня сидела и со всеми раскланивалась».

Улыбалась светло Валентина Степановна и вытирала набежавшие вдруг слезы. Обнимал ее зять, легонько гладил по голове: «Понимаю тебя, Дрях-

лость моя ненаглядная, но ты не печалься. Живи в радости, а я буду твоей золотой рыбкой». Теща блеснула глазами: «Прям-таки золотой рыбкой?» Гена щедро развел руками: «Што хошь проси, мил человек!» Помолчала старушка, словно стыдно ей было, будто просьба уж больно велика, а потом решилась: «Знаешь, Гена дорогой, о чем коленопреклоненно прошу... Церквушку бы нам поставить. На взгорочке у села... Тогда б мы по-людски зажили, с Богом, с молитвой, с покаянием. А?» Охнул Глыба от неожиданности: «Вот это да! Вот это ты, теща, сказанула-попросила! Государственно мыслишь! А идея, скажу я тебе, достойная, и мы ее в жизнь претворим. Потому как рождены для чего, Дряхлость моя ненаглядная?..» Валентина Степановна заулыбалась от души: «Чтоб сказку сделать былью, Гена дорогой!»

Глыба увлекся церквушкой. Не было в нем мыслей, как у балбесов-бандитов — новых русских, по поводу отпущения грехов, если храм возведешь. Нет. Геннадий Петрович Глыба по сути своей был законченным атеистом, вернее, атеистом от рождения. В начале пятидесятых Господь Бог в стране Советов в чести не был, и родители Генки сделали все, чтобы их дети о Боге — ни слова. А если и выпорхнет что, то с должной советской иронией. Сами-то, вероятно, с Богом жили, думал Гена, и крещены, наверное, были, но боялись. Дикое время в дичайшей стране.

Но вот про это Глыба как раз и не думал. Ничего дикого в их жизни не было. Все само собой, своим чередом и естественно. Причем в постоянной прогрессии. Так что жил Генка как жилось, горя не знал, Родиной своей гордился, грехи совершал исправно, но отчета себе в том не давал вовсе. Грех как явление и даже само это понятие вроде бы и существовали, но как-то в стороне. Мелькнет иногда на языке и тут же упорхнет легко.

Никаких грехов Гена не боялся и церковь не для их ликвидации строить решился. Для тещи и ольховцев он это делал. Ему было в кайф. Новое, совершенно новое для него, а потому азартное дело. Для начала Глыба поехал в райцентр и порасспрашивал настоятеля отца Игнатия (интеллигентнейшего, кстати, человека) на предмет проблем строительства. Батюшка усмехнулся, но как-то по-доброму, без иронии: «Грехи хотите в новостройке утопить, любезный?» Глыба оправдываться не стал, хмыкнул: «А то ж!»

Выяснилось, что без благословения владыки приступать к строительству нельзя. Пришлось возвращаться в город, идти на поклон к его высокопреосвященству. Не любил Глыба прогибаться, а в последнее время, заматерев финансово, — и вовсе. Все покупалось в этой стране с полпинка. Но тут случай иной.

Владыка к строительству церкви отнесся очень даже благостно. Он такие дела всегда приветствовал, поскольку по духу был созидателем и прорабом. За десять лет, что пребывал архиепископ в их краях, появилось благодаря ему и пастве (в лице глав районов, бизнесменов и прочих разных богатеньких предпринимателей) более пятидесяти приходов (а было всего-то около десятка) и порядка трех десятков новых (с нуля!) храмов.

Услышав притязания известного и уважаемого бизнесмена Геннадия Петровича Глыбы, владыка лишь спросил: «Финансирование решено?» На что Гена по привычке брякнул: «Говно вопрос» — и сконфуженно закашлялся,

но кашель его перебил раскатистый хохот владыки. Просмеявшись, архиепископ успокоил: «Не смущайтесь. Бывает. В общем-то, ответ, достойный мужа».

Получив высокое благословение, Гена отправился к архитектору. Предстояло еще много бумажных проволочек, но этим будут заниматься его клерки, а вот слово замолвить надо. Чтобы всем было понятно — Глыба взялся за это дело и шутить, а тем более волокитить, тут никак невозможно. А чтобы архитектор не сомневался, положил ему Гена в конверт хорошую сумму в европейских купюрах и конверт тот за ужином в тихом месте скромно вручил. Мол, не обессудьте...

И через год встала славная церквушка на взгорке, и засверкала куполами, и запела колоколами на всю округу. Владыка лично ее освящал. И когда завершилось это святое действие, вышла из толпы Валентина Степановна, подошла к Генке и поклонилась ему в пояс. Не владыке, а Гене дорогому. И никто не ахнул от возмущения. Все всё знали и приветствовали ее. Правда, тихо, в смущении некотором. Но в то же время с твердым убеждением.

Вот такая у Глыбы теща. Именно она вытащила Гену из этой клоаки, в которой он застрял основательно. Когда Катерина привезла Глыбу в Ольховку, мудрая женщина, попросила его дров на зиму заготовить. Все переколоть и сложить в поленницу аккуратненько. Гена было дернулся в сторону своей охраны, но тут же отпрянул и покраснел даже, чего с ним сто лет уже не бывало. Взял колун и три дня крушил сучковатые поленья, а потом столько же складывал, затем забор подновил (опять сам, охрана пыталась помочь, но нарвалась на... кое-что), на баньке крышу подлатал. И ожил. Словно из омута черного вынырнул. Оглянулся, улыбнулся, хрустнул позвоночником, расправив плечи, и гаркнул: «Потапова, ромашку тебе в пипашку, собирайся, пойдём рыбалить с ночевой». Когда охрана засуетилась у машины, Гена одернул: «Я сказал пойдём, а не поедем. И вас, пацаны, никто не приглашал».

Вот там, на реке у ночного костра, осмыслил Глыба «правду жизни» и понял: суета все. Суета, накипь, мусор. Здесь жизнь, здесь правда — у истоков, у землицы. Вот так же, у ночного костра, не единожды сживали они мальцами, а потом юнцами и юношами у реки или у зимовья, пили полчифир (а позднее — водочку), неторопливо общались, но больше молчали, поскольку природа любит тишину. И если ухнул где-то филин или по-собачьи тьякнул козел, то сие не нарушало естества, а было той самой природной тишиной.

И сейчас, сидя на веранде, Глыба вновь все прочувствовал и заплакал тихо. И слезы эти были светлые, они отпускали и лечили. Там, на реке, вернулся Гена душой в Совок, в детство свое и юность, в начало жизни. И как бы ни материли то время, было оно для него родным и до слез трепетным...